
Станислав ФЁДОРОВ

САМЫЕ СТРАШНЫЕ СОСУЛЬКИ ВСЕГДА НАД ВХОДОМ

Рассказ

Вода есть начало всех вещей.
Фалес

Ветер уже потеплел. Снег обмяк. Впервые за долгое время — Никита уже и забыл, что такое возможно — у него были расстегнута куртка и небрежно повязан шарф, а шапка лежала в кармане. Пыльный, но свежий воздух дотрагивался до кожи головы. Никита медленно шел к арке, смотря под ноги. Лед, редко и беспорядочно посыпанный песком, спокойно блестел на солнце, выступавшем из-за края колодца.

Город из моря и камня оттаивал. Тут и там со стен, с краев крыш и мостов, с парапетов падали мокрые льдинки, кусочки затверделого снега, гранита, — все текло и звенело. Никита на секунду поднял голову — и заметил, что дома изменились. Как именно, он не успел осознать — то ли побледнела штукатурка, то ли карнизы наклонились, — и все же это было очевидно. Испугавшись, Никита тут же переменил ход мыслей.

В рюкзаке лежали комиксы — нераспечатанные, в целлофане и с ценниками на задних обложках. Никита их только что купил в маленьком независимом книжном.

Этот молодой человек довольно долго ходил туда-сюда по торговому залу. Он выглядел потерянно, я видел, как бегают его глаза, будто в поисках выхода. Я обычно не выхожу из-за прилавка и ни с кем из покупателей не разговариваю, даже когда они подходят с книгами, а молча пробиваю: стесняюсь дикции. Понятно, что на самом деле ничего такого в ней нет и никто всерьез не обратит внимания на мою шепелявость, но я так с детства. Не все у меня там приятно было. Поэтому обычно молчу. Когда-то из-за этого сорвалась моя свадьба. Я любил православную девушку, и она настаивала, чтобы мы обвенчались в церкви. Ничего против я не имел. Обряд шел как надо, но когда священник спросил моего согласия, по привычке я промолчал.

А на этот раз так разволновался, что встал из-за прилавка и пошел к молодому человеку, спросить, могу ли чем-то помочь. Выглядел он достаточно паршиво: в грязной рваной куртке, с сальными волосами. А я подошел весь опрятный, с чистой кудрявой бородой, с платочком на шее — чувствовал себя, если коротко, совсем уверенно.

И вот я встаю перед ним, молчу. Молодой человек застыл на месте и таращится на меня, как на привидение. Прежде чем я открыл рот, он сам сказал:

Станислав Романович Фёдоров родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время студент третьего курса Литературного института им. А. М. Горького (семинар А. В. Геласимова), живет в Москве.

— Я тут... ишу...

Когда не первый начинаешь, уже не так боишься заговорить, — подумал я.

— Я не книгу... — продолжал тем временем молодой человек. — Вообще я и не знал о вашем магазине, пока не зашел внутрь...

Тогда я понял: что-то не так. Мы же в колодце, в арке решетка, и чтобы пройти, надо набрать наш номер на домофоне. Рядом с калиткой у нас табличка: «Книжный магазин» — и циферки. Я хотел спросить, как он мог не знать, а сам наблюдаю за тем, как раздуваются и схлопываются у него ноздри; и дышит он шумно — кошмар! У меня от... напряжения выступил густой пот. Пришлось достать салфетку. А молодой человек говорит:

— Вообще я ишу одну девушку...

Я отважился и спросил:

— Так?

Он вдруг дернулся и как закричал:

— А, забудьте! Может, у вас есть ерунда какая-нибудь?

Я чуть в обморок... то есть почувствовал себя дурно. Нужно было поскорее от него избавиться. Ну какая у нас может быть ерунда? Отвел его к комиксам и назад за кассу. Он мне принес «Сурвило» и еще что-то такого рода. Я ему ничего больше не сказал.

Из колодца я вышел на Фонтанку. Заходил я через эту же самую арку с канала Грибоедова.

Что само по себе, да? загадочно.

Да: я набирал на домофоне номер книжного, справа находилось метро «Невский проспект», с той же стороны на ясном небе между куполом Казанского и куполом Зингера горело бесформенное солнце — я еще тогда удивился, что Казанский казался ниже Зингера. Теперь небо было сплошь белое, хотя прошло не больше десяти минут; исчезли и сувенирные магазины, и уличные клоуны, и малоизвестные рок-группы, обычно ошивающиеся около метро, которого тоже след пропал.

Я даже не сразу понял, что это Фонтанка. Раньше я вообще думал, что канал Грибоедова и Фонтанка — это одна Фонтанка, просто где-то она шире и спокойнее, а где-то уже и нервнее. Теперь хоть это понимаю.

Все люди куда-то пропали — спросить, где я, некого. Потом увидел на доме: «Набережная реки Фонтанки». Не зная, куда деться, я встал на краю набережной, облокотившись о парапет. С одной стороны текла черная вода, с другой — покоилась огромная длинная толстая льдина, на которой местами торчали какие-то темные букли. Сперва я подумал, что это крупные голуби; потом решил, что утки. Точно не знаю. К краю льдины из воды тянулись маленькие белые точки. На моих глазах вода замедлялась и белела.

Дул теплый ветер.

Тем временем на мосту, медленно и тяжело переставляя ноги в кроссовках, появилась бабуля с красной повязкой на лбу и с пакетом в руках. Не зная, чем заняться, я стоял и следил глазами за бабушкой.

По мере ее приближения я все больше понимал, что это не просто какая-то бабушка. Точно такую же повязку носила Ильма.

Мои ноги задрожали, а внутри, наоборот, все замерло. Я хотел побежать, догнать старушку, спросить, откуда она взяла платок, но от страха просто стоял и смотрел, как она идет.

Заметив, что уже стою в луже, я переступил на лед.

Бабушка сошла на этот берег. Перейдя дорогу, она остановилась у двери ближайшего дома. Я каждую секунду готов был сорваться, но не мог пошевелить ни рукой,

ни ногой, будто закованный в броню, и при произвольных движениях мне казалось, что я касаюсь ее стенок.

А старушка долго рылась в пакете, потом стала перебирать ключи. Я по-прежнему не трогался с места. Но только я наконец решился и сделал всего один шаг, бабуля тут же открыла дверь и исчезла в темной парадной.

С карниза прямо над ней свалилась огромная льдина и расшиблась о крыльцо. Осколки разлетелись градом, и те, которые не свалились на реку, тут же растаяли, и снег заблестел.

Я топтался на месте, страшно разозленный, хотя со стороны и не скажешь.

Другие люди так и не появились, так что мне было не у кого даже уточнить, в какой стороне Невский. Наугад я двинулся в сторону от дома бабули, все еще ворча на себя; не успел я пройти и десяти шагов, как поскользнулся и упал на спину. Облака далеко вверху по-вечернему порозовели.

На Лиговском посреди улицы я нашла парня, который, видимо, поскользнулся. Я помогла ему встать и отвела в столовую, там было недалеко. По дороге он сказал, что его зовут Никита. Нельзя было оставлять его одного: он шатался и вообще был не в себе.

В столовой я посадила Никиту за стол и попросила сотрудников, чтобы я налила ему воды — сказала, что человеку плохо и так далее. Они налили в бумажный стаканчик. Я не дура: нет, говорю, вылейте, я сама налью заново. Они не поняли, но и спорить не стали, слава богу. Взяла стакан, налила у них воды, отнесла ему. Он сказал спасибо, но пить не стал — то есть не сразу.

Ему вроде уже стало лучше, я стала расспрашивать, кто он, что он. Он ничего толком не рассказал, все как-то туманно и уклончиво. Ясно сказал только одно: что ищет какую-то девушку, свою подругу.

— Она потерялась? Вы подавали заявление в полицию? — спрашиваю.

Он ответил:

— Нет, она не то чтобы потерялась, и полиция не поможет. Я знаю, что она в этом городе, но где именно, нет, и ищу.

Тут он поднес стаканчик ко рту, чтобы попить, и ошпарился. Тут я чего-то не поняла: вода-то была холодная. Я говорю:

— Ой, так там кипяток? Вроде я приносила холодную.

Он подул, помолчал, как будто подумал.

— Нет, — говорит, — горячая.

Ну ладно. Я стала рассказывать про себя. Что родом не из Питера, сама из Татарии, там маленький такой город есть. Как я там с родителями жила, помогала им и все. Как мы с девочками там дружили, собирались вместе часто, рассказывали друг другу, что у кого там нового, хорошего, плохого.

Однажды у меня мама болела, ее надо было отпаивать горячим молоком. А ночь, магазины закрыты, я пошла к соседям спросить, есть ли молоко маме моей. Одни не открывают, другие говорят нет, нету, третьи просто посылают, чего я их разбудила... И один сосед, мужик такой толстый, все-таки дал молока. Ничего не спорил, не ругался, а сходил там и взял молока. Я разогрела его в кастрюле, дала мамочке... Ну и что? Умерла на следующий день. Вот так. А дело все в том, что мужик это молоко, я потом узнала, взял у своей двоюродной сестры, а брать ничего через третьи руки нельзя. Нельзя вообще ни у кого ничего брать, если не знаешь точно. Может же быть заговоренное или еще как от лукавого. Я с тех пор это поняла, поумнела.

Теперь я в Питере, по работе переехала. У меня тут муж и сын, семь лет. Он недавно в сугроб упал и снега наглотался, простыл... Это было вот дней за пять-шесть

до того, как я парня подняла. В поликлинике нам сказали, надо прогревание. Мы ему грелку на грудь клали постоянно горячую, чаем с малиной поили — но все как-то ничего...

А парень этот, Никита, молча слушал, и ему вроде даже не было интересно, но когда я дошла до этого места, вдруг говорит:

— Я могу помочь вашему сыну.

Я прямо оторопела.

— Как это? — спрашиваю.

— Ну так, — отвечает, — сделаю хорошее прогревание. Надо будет, чтобы он попил воды, которую я ему дам. Выздоровеет быстро, только медлить нельзя.

Я-то не дура. Я помню, в каких мучениях умерла моя мамочка, когда я дала ей чужое молоко. Это было очень страшно. Она задыхалась и стучала кулаком в стенку. Как я подумала о ней, у меня чуть сердце не остановилось. От страха, что такое же может случиться с моим мальчиком, я почти заплакала, но все-таки сдержала себя в руках.

— Как ты, скотина, можешь? — говорю, а саму от страха трясет. — Хочешь убить его? Или отравить?

Он, наверное, испугался, что я его раскрыла, и тут же поднялся и убежал за двери, оставив стакан со льдом на столе.

Выносить мусор — мой личный кошмар, мой ад. Наберется по два, по три мешка, пока найду силы пойти к помойке. Не посылать дочь вместо себя мне хватает ума и совести. Каждый раз, выходя с мусором, я проклиная старый совковый дом без мусоропровода и наш двор, в котором все дома такие. Контейнер, куда я все выбрасываю, стоит вне двора, недалеко от автобусной остановки. В любое время года по пути туда надо испачкать себе обувь по шиколотку. Прямо на улице — не во дворе, не в каком-нибудь переулке — огромная куча грязи. Причем не какая-нибудь бесформенная, а со всех сторон огороженная асфальтом: ровный квадрат дерьма. И люди ходят и любуются на него, на вечные лужи, на бездонные ямы, оставленные чьими-нибудь ногами, на следы от машин, которым почему-то все время нужно здесь ездить. А местным — каждый день идти через это болото к мусорному контейнеру. Зимой оно замерзает, но под ногами превращается в пыль — просто так все равно не уйдешь.

Дочь вырастет, станет жить сама — в тот же день перееду куда получше. Пока она со мной — никак. Хотя обычно она — в своей комнате, я — в своей. Тихо. Полина не особенно общительная, почти постоянно сидит в телефоне; раз в неделю ездит в Аничков дворец показать, что написала. Но она, скорее всего, пойдет на платное — почти по всем предметам тройки. Так что тем более в ближайшие годы не может быть и речи о переезде.

Противно, когда слышу или вижу в Интернете восторги по поводу безграничной, ослепительной красоты Петербурга. У нас хотя бы квадрат; а по всему городу — кроме центра, конечно — вообще все загажено. И дома одинаковые, и перегородки сломаны, и дырки в заборах, и неопределенного происхождения погнутая железная труба лежит у дороги — такой же город, как любой другой в России, один центр — кукольный домик. И попробуй скажи об этом: сразу найдутся яростные тетеньки и дяденьки, настоящие петербуржцы, не то что ты, гнида. Как можно подумать, что что-то у нас не блестит золотом?

Да блестит, все блестит, понятное дело. Работая риелтором, насмотришься, как блестит.

Как-то я продавал одну квартиру. Пришел посмотреть на нее в первый раз — вроде ничего, все в порядке, ремонта, правда, давно нет, но в целом хорошая. Но включил свет в коридоре — вижу, из стены торчит человеческая рука.

— Это что? — спрашиваю.

Хозяйка отвечает:

— А это всегда так было. Мы заехали, уже была рука. Мы пробовали ее убрать, но ничего не получилось.

Я потрогал руку: правда, как у живого человека, со смуглой кожей, с венами, с волосками... ногти неаккуратные. Пощупал запястье — есть пульс.

— У вас тут живой человек замурован. Квартиру продать не получится.

— Мы, что ли, виноваты? Заезжали — уже был замурован. Вы думаете, мы почему хотим уехать?

Они мне предложили деньги вперед, чтобы я не бросал их. Что делать? Взял, начал искать покупателей. Скоро нашлась женщина, которая переезжала из Твери. Она, судя по всему, уже давно подбирала квартиру, когда мы с ней пересеклись. Как-то ей внушил доверие: говорила, что надеется на мою помощь.

— Есть одна хорошая квартира, — сказал я, назвал место и цену. — Но с одной странностью.

— Ничего, давайте посмотрим.

Привел. Увидев руку, она, похоже, не особенно удивилась, а только вздохнула и сказала:

— Ну что за город? Дрянь на каждом шагу.

Вдруг я понял, что мы с этой женщиной одинаково хорошо понимаем, какой на самом деле город Питер. У меня выступили слезы; я буквально чуть не кинулся целовать ее. Я действительно ощутил нежность, какой не было уже давно. Мне очень сильно захотелось поговорить с ней, возможно, посидеть недолго вместе где-нибудь.

Квартиру она, конечно, не купила. На выходе мы попрощались и больше не виделись.

Дома я поставил стирку, разогрел еду, позвал Полину. Ужинали, как обычно, молча, под гудение стиральной машины.

— Я сегодня прочитала свой текст, — сказала Полина, пока я развешивал белье.

— И как? — говорю. — Понравилось? — Сам я не особенно разбираюсь в литературе.

— Преподаватель похвалил за то, что у меня хорошо передан дух города.

Я скривился:

— Ну, молодец.

— А у меня там на город указывает только, что упомянуты Девяткино и Малая Морская. По остальному никак, наверное, и не поймешь. Неужели надо всего лишь вставить какое-нибудь название, чтобы получился питерский текст?

Мы помолчали.

— Нет, — ответил я, подумав. — Этого мало. Вот если напишешь про человеческую руку, торчащую из стены, тогда это точно Питер.

— Да ладно. — Расстроенная, Полина пошла в свою комнату. — Я такое каждый день в паблике с трэшowymi новостями вижу.

Закончив с бельем, я увидел, что пакет из-под стирального порошка выпал из мусорки на пол и распрямился. Я заново скомкал его и попытался засунуть в полный мешок еще раз; пакет выпал и снова распрямился. Тут я понял, что таких мешков под раковиной четыре.

Одевшись и ухватив кое-как по две штуки в руку, я поплелся к контейнеру. Несколько раз поскользнулся, но не упал. Песок и соль рассыпаны как зря.

Пока я вяз в любимом квадрате дерьма, уже оттаявшем, к остановке подъехал автобус. Двери открылись, и выскочил паренек. Он бежал в мою сторону. Я не обращал на это особенного внимания, пока он не прыгнул в квадрат и не брызнул во все стороны грязью. Попало и на меня — а я в чистой куртке. Едва я собрался разозлиться, заметил: куртка чистая, немного мокрая. Паренек поглядел на меня дико, извинился срывающимся голосом и унесся.

В квадрате была только вода.

Шестичасовая смена — с одной стороны, чего проще: стой себе, смотри, чтобы все хорошо было, никто не пил, не дрался, мимо урн мусор не кидал — что, кстати, не так просто, потому что урны почти все в закоростевшем черном снегу, и узнать их трудно. Далее, мне трудно долго стоять на своих больных ногах. Легче, если ходить. Но у нас же нормально не убирают, улицы в слякотном месиве, и постоянно скользишь и вязнешь. Хочется сидеть дома с тобой, прикасаться к тебе, а не бродить в холоде, но — работа. Правда, и не так уж плохо: все-таки Питер, наш, родной, настоящий, не как та же Москва.

Вот когда я как раз так прогуливался, вдруг вижу: со стороны Металлистов бежит такой... с бешеными глазами, невымытый, в старой куртке. Думаю, может, вор или в этом роде, но трогать пока не стал.

Довольно скоро он замедлил шаг, успокоился и нашел себе странное занятие. Он начал неспешно наматывать круги по перекрестку, то и дело подбирая твердые кусочки грязного снега, который быстро таял у него в руках. Я уже ходил за ним следом, уверенный, что это наркоман; он меня не замечал. Один раз он взял довольно большую черную льдину и держал ее, пока не растаяла, достаточно долго — или не особенно.

Вдруг парень поднял то, что мне казалось до этого момента занесенной мусорной урной, но это все-таки была льдина, — и через минуту она растеклась. Он уже был весь мокрый и в черной рассыпчатой гадости, которая остается от грязного льда. Я наконец подошел к нему и спросил документы.

— Простите, у меня с собой нет, — ответил он.

— А надо носить. Что вы мусор всякий подбираете?

Он замялся:

— Я... Ну, я... я ищу одну девушку.

Мой интерес к нему сразу пропал. Как ты помнишь, милый, я боюсь только двух вещей: женщин и москвичей. У одних по всему их телу это... мерзкое!.. так до сих пор перед глазами и стоит... а другие — конечно, не так неприятны, но все же: они холодные, равнодушные и слушают попсу вместо рока... человеконенавистники.

В общем, я сразу решил оставить этого мужика. Кивнул ему, мол, понятно, и пошел. А он — за мной и продолжает:

— Она должна быть где-то в этом городе.

— Ничем не могу помочь.

— Она смуглая, длинноволосая и, скорее всего, находится в каком-то здании.

— Молодой человек, всего доброго!

— Еще она умеет лечить ноги!

Сначала я подумал, что ослышался. Слишком уж это выходило странно — и потому подозрительно.

— Чего вы сказали? — я сохранял интонацию на всякий случай. — Какие ноги?

— Ну, ноги, — ответил он. — Как у меня вот... или как у вас. — Он, как мне показалось, многозначительно на меня посмотрел. — Любую болезнь ног она лечит на раз-два...

Тогда я понял: у него сети хорошо расставлены.

— Откуда ты знаешь про ноги? — спрашиваю его.

— Я видел, как она это делает.

— Нет: откуда ты знаешь про мои ноги?

Парень нахмурился, покачал головой, сказал, мол, ничего он не знает. Сомнений в том, что он за мной следил хотя бы немного, не могло быть. Тем более он тут же перешел в наступление:

— А у вас ноги болят? Так как раз надо ее найти, девушку, она вам сразу поможет. Давайте скорее.

Мне почти физически стало плохо. Похожий на бомжа незнакомый человек — явно не местный, вероятно, москвич — за мной следил и теперь вдобавок предлагает встречу с девушкой!.. Как долго он вообще наблюдал за мной? Сколько знает? Не будь дурак, я сейчас же достал телефон, сфотографировал его для дела и побежал, как мог. Через несколько шагов я резко перестал вязнуть в слякоти и от этого сильно ускорился, чуть не упал; опускаю глаза посмотреть, почему так — а слякоти нет, и вместо нее течет грязная вода по щиколотку. Примерно одновременно с этим раздался очень громкий плеск, закричали люди, и быстро стал нарастать шум. Я остановился посреди дороги и оглянулся. На меня неслась огромная волна. Прежде чем она меня захлестнула, я подумал, что утону или меня ударит об какой-нибудь столб. Но ни обо что меня не ударило, и я не захлебнулся. Скинув тяжелую куртку, я всплыл наверх. Творился какой-то кошмар. Вокруг барахтаются люди, хватаются друг за друга и тянут вниз, вопят, — особенно женщины! Вода несется, пенится; она поднялась так высоко, что не было видно ничего над водой в радиусе где-то километра — только в стороне вокзала остались многоэтажки. Автомобили, судя по всему, затонули, или их отнесло далеко — одна-единственная машина плыла, да и ту потянуло вниз... Как скрылся ее край, водитель вынырнул — на том же месте, на каком был в машине, как будто прыгнул сквозь крышу.

Вода все прибывала, крик тоже. За мою руку схватилась какая-то баба и заорала:

— Полиция! Полиция!

От отвращения мне захотелось немедленно утопиться, но вместо этого я просто дал бабе по лицу, и она, вскрикнув еще раз, упала в воду и больше не показывалась.

Многоэтажки на моих глазах покосились и стали падать. С разрушающейся крыши лилась вода.

По телевизору сказали, что затопило правый берег. А почему и откуда — нет. Наводнение? Трубы прорвало? Надо думать, второе. Ну ничего: все перекопают, поменяют за год, и еще пару месяцев можно будет жить.

Я в Ленинграде с рождения. В юности я не замечала, чтобы что-то было неправильно. Мне, маленькой, часто говорили: вот смотри, Клава, это — Адмиралтейство, это красиво. Это — Петропавловка, это тоже красиво.

Я верила, но ничего не чувствовала. Сколько бы меня ни убеждали, что у нас самый красивый город на свете, я всегда в этом испытывала легкое сомнение. Как они понимают, что красиво, а что нет, если этого не понимаю я? Если мне ничего не кажется красивым, это же не значит, что красивого вовсе не существует; может же быть, что какой-то неизвестный предмет или человек *в самом деле* красивый, а Ленинград — нет?

В девяностые выяснилось, что я была права.

Я знала одного мальчика, Жору, он был соседом по площадке. Мы водили хорошие соседские отношения, мы улыбались друг другу, общались, иногда звали в гости и пили вместе чай — не дружба даже, просто приятно иметь такого доброго знакомого, к которому ты можешь пойти на чай. У меня тогда еще, в восемьдесят шестом, была старая мебель и часто ломалась — а Жора умел со всем этим управляться и приходил чинить. Когда заказала новую, он помог мне ее донести. В общем, ладили. Вдруг что-то изменилось. Когда он последний раз ко мне приходил, он был очень язвительен — совсем не как раньше. Он говорил, что знает, какими средствами я добываю деньги, и смеялся. Через месяц его убили. Кто-то поставил ему на могиле двухметровый памятник.

В то же время мой двоюродный брат устроил крупную аферу с деньгами и обманул сотню человек. В то же время моя старая школьная подруга стала продавать наркотики. Мой дядя убил человека. Получается, все, что *до* девяностых, — ложь? Я думала, они обыкновенные люди, а оказались — преступники, лицемеры. Весь город — обманка: снаружи здание красиво, а внутри — заброшено, и сидят в нем страшные, холодные люди.

В день, когда на меня напали с ножом на улице, я вырвалась и побежала домой. С тех пор дом я не покидала.

Сперва я голодала. Потом попросила соседку, чтобы она принесла мне еды. Постепенно у меня к ней развилось доверие. Я поручила ей забирать в кассе мою пенсию и покупать мне продукты, и казалось, так все и было. Спустя несколько лет я узнала, что пенсию мне все это время не выдавали. Из квартиры я все равно не вышла.

Сейчас я скучаю по Ленинграду. Мне не стало казаться, что он красив, потому что я почти его не помню — только частями. Каждый день, закрывая глаза, я вижу свой Обводный канал. Ничего на нем не изменилось: по набережной проезжают «Жигули» или «москвичи», люди в клешах и плащах из кожзаменителя идут на работу, на квартирник, на безделье. А я по каналу долго брожу, смотрю на него: как дрожит в нем серая вода, как кажется, что она неглубока; какой он прямой и долгий, с редкими изгибами.

Мое окно выходит во двор. Там ничего нет, кроме окон других домов и мусорки внизу. Когда я только заперлась и решила больше никогда не выходить, я не хотела даже подходить к окну, потому что боялась — вдруг снаружи увидят эти мерзавцы. Теперь прошло время, стекло за годы покрылось грязью, а само окно не открывается.

С каждым днем моя тоска по городу становится все сильнее. Мне почти трудно дышать от нее. В такие дни я вытаскиваю из гардероба свое пальто, изъеденное молью, обуваюсь, даже надеваю на голову платок... Но на пороге квартиры обычно все заканчивается.

Сегодня я открыла дверь и вышла на лестницу. Мне сразу стало легко, я почувствовала, что начинаю дышать.

Лифт не работает — не знаю, как долго. Я даже обрадовалась — пошла по ступенькам, почти побежала! Один этаж, другой, третий, четвертый — я внизу, бегу к парадной двери и... остановилась.

Страшно.

Рука не поднимается нажать кнопку. Я уже отучилась думать о бандитах и убийцах, хотя знаю, что они по-прежнему там, просто в ином виде — лгут. Только одно остановило меня — я вспомнила: самые страшные сосульки всегда над входом. Или над выходом, в моем случае. Даже до девяностых, входя и выходя из дома, я не могла спокойно смотреть на то, что висит над дверью. По весне часто кого-нибудь убивало. Раньше я не так боялась этого, но теперь, спустя тридцать лет затворничества, сосульки вдруг не дали мне выйти. И я поняла, что скоро, когда весна пройдет и все сосульки упадут и растают — что-нибудь еще остановит меня.

Я стояла там несколько часов. Несколько раз проходили люди — почему-то все женщины, кроме одного мужчины в запачканной куртке, — и в эти секунды, пока дверь не закрылась, я снова видела город. Совсем немного, но он там. Многое, кажется, изменилось, но, по существу, то же. Через дорогу — кирпичное здание, как и было. Я всегда называла его у себя в голове «Блок». Не знаю, когда его на самом деле построили, но мне казалось, что в начале прошлого века, и от этого сразу вспоминались стачки и «Двенадцать».

С улыбкой я вернулась к себе.

Дома капало с потолка: крыша протекла. Видимо, шел сильный дождь или мокрый снег, а я и не заметила, стоя у двери. Вода била мне в щиколотки; она наполнила всю квартиру, в ее волнах плавали мои вещи: кастрюли, фотографии, книги.

Я сбрасывала с себя одежду; пальто, упав и намокнув, болталось на месте, платок опустился на дно. Сев в кресло, я выдохнула и закрыла глаза. Сразу передо мной оказался не канал, а Фонтанка. Это странно: Фонтанка не была для меня ни с чем связана в воспоминаниях. Тем ценнее мне показалось это видение, и я зажмурилась, чтобы не упустить его.

Вокруг — никого, небо серое и все замерзшее. С карнизов свисают огромные льдины — именно льдины, а не сосульки. Под ногами — лед и скользко. Аккуратными, медленными шагами я перешла мост и встала перед дверью, ищу в своем пакете с вещами ключи. Никак не могу найти — там много всего, а надо мной висят огромные, уродливые льдины и вот-вот упадут. Нашла, достала, подношу к замку... вдруг моя рука намокла. Ключи растаяли, как будто были изо льда. В следующее мгновение я услышала сверху треск.

Мы с Никитой жили с правого берега, с обратной стороны стрелки; но, может быть, и не с обратной, а с обычной, и я была большой, он — средний, а этот мир — малый. На сердцах — кресты, на голове — летающие тарелки. Он родился во скворечнике, я — на пряжке. Наш дом о пяти углах стоял в осиновой роще, посреди сосновки. Мы питались колбасой на ваське и финбаном, счастливо грызли орешек и закусывали булкой.

Всегда и везде мы носили сланцы на ногах — и куда бы ни пошли, за собой оставляли белые следы — женские имена: Алла, Анжела, Вика. Днем мы рыли колодцы и ловили рыбу уделкой, с аэродрома взлетали на парнас, катались на клодтах и крепко держались за них, когда медные всадники вставали на дыбенко. Вечером мы возвращались домой, и наш вход был парадным. Наш сон охраняли коменданты, ночь кончалась грибаналом.

Когда-то Никита сделал из своего ребра первый поребрик. Увидев, что это хорошо, он сделал второй. С тех пор, проснувшись с утра, он уходил множить поребрики. Я в это время спускалась к воде и тянула из нее нити. Их можно сосать, как леденцы, а можно развесить, как гирлянду, и сбивать лазером.

Однажды мы играли в бадлон: залезали в воду и стояли в ней. Пока мы так стояли, Никита сказал мне:

— Ильма, звездная, Расскажи снова об утке и семи яйцах.

— Ты слышал эту историю так много раз, — ответила я. — Лучше ты Расскажи о зайцах.

— Зачем? Это не так интересно.

— Прошу тебя.

— Ну хорошо. Тогда я открою тебе часть, о которой прежде молчал.

— Ты еще о чем-то молчал! — притворно разозлилась я, на самом деле — обрадовалась.

И он начал, подбираясь ко мне в воде:

— Говорят, есть такой заячий остров, на котором царь поставил крепость.

— Так, — отвечаю я, а сама незаметно тяну из воды нить, чтобы ответить ему, когда он кинется меня обнимать.

— Прошло много лет, и вокруг крепости разросся город...

— Надо же!

— Так вот, Ильма: этот город есть на самом деле.

— Ну да. — Я игриво запрыгала в воду, стала плескаться, но он остановил меня:

— Нет, постой, послушай. Этот город правда есть. Там живут люди.

У меня по спине прошли легкие мурашки. Я еще немного посмеялась, но уже не так охотно.

— Знаешь, сколько там людей? — спросил Никита.

— Один? Два?

— Больше пяти миллионов.

Я почувствовала, как от ужаса мои глаза и ресницы растаивают и стекают по щекам.

— Так не бывает.

— Бывает. У каждого из них своя жизнь, и они даже не все знают друг друга.

— Прекрати! — закричала я и побежала на берег. — Этого не может быть! Ты врешь!

Я бежала, а Никита пытался за мной угнаться и извинялся, что врал мне. Когда я выдохлась и упала, он меня обнял и продолжил:

— Хочешь, мы с тобой побываем там?

— Что это значит?

— Там все совсем по-другому! Там все вывернуто! Поребриком они называют такой камень на дороге; не люди ловят уделкой, а уделка ловит людей.

Его слова я не разбирала. Страх сотрясал меня. Бесконечно долгое время для меня истории Никиты были сказками, анекдотами. Теперь я, наверное, почувствовала, что это *наш* мир — сказочный, вторичный, а не наоборот. Там — все правильно, здесь — страшно. Оставаться с каждой минутой мне казалось все более безумным. Я вырвалась из рук Никиты и опять побежала. Прежде чем он успел предупредить меня о чем-нибудь, я оказалась там.

Я так и не увидела Петербурга. Сквозь холодный камень, окружающий меня, я глухо слышу чьи-то речи. Иногда — довольно часто — меня трогают за руку, которая торчит снаружи. Меня шупали, как только могли: пытались вытянуть, отрубить руку, но, разумеется, ничего не выходило. Уже давно я перестала обращать на прикосновения внимание. Я не чувствую ничего.

Всю зиму Никита ходил по городу и надеялся встретить Ильму. Когда он стал осознавать, что ее просто так не встретить, он робко, понемногу начал растапливать отдельные камни, мусор; если никто не видел — вещи побольше: столбы, части зданий, мостов. Время от времени Никите приходила мысль разобраться с проблемой мгновенно, но его останавливала боязнь причинить боль тем, кто живет здесь. Лишить их города, который они называют родным, самым красивым, самым культурным, казалось преступлением. Но чем дольше Никита искал Ильму, тем меньше он волновался за других.

Весна в январе никого будто бы и не удивила: чего еще ждать при таких бедах с экологией. Никита поначалу пугал сам себя, отводил глаза от тающих построек и памятников. В день, когда его разозлил полицейский, Никита обратил в воду целый район. Тогда он понял, что препятствий быть не должно.

Заходя в случайные дома, он проверял ради формальности, не прячется ли здесь Ильма, и все мгновенно растекалось. Сделав так несколько десятков раз, Никита заметил, что его усилий больше не нужно: вода уже поднялась выше, чем здесь помнили, и под ослепительным бесформенным солнцем все в ней таяло безо всякой помощи.

От Петербурга не осталось ничего: озеро, в котором кое-где плавали последние льдинки, — и только. Никита носился по нему из конца в конец, высматривая что-нибудь живое, и когда наконец увидел поднимающуюся над водой смуглую руку, засмеялся от счастья.